

Павлин-птица

Возьмем медведя, вместо его косматой морды пристроим маленькое, высосанное годами, изрезанное морщинами вдоль и поперек личико, – и получим Афродита Подколодного, старца семидесяти, а может быть, и восьмидесяти лет. Столь странное имя ему сусердствовал из озорства попишко из Марково, когда чукчи принесли ему мохнатый куль с младенцем, нивесть откуда взявшимся на ручейке Пыныль, у нового ламутского поселения Ваеги. Сказывали, правда, что промчалась по ручью недавно в сторону Белой ватага упряжек богатого купца Дубравина, дерзавшего соперничать в пушном деле даже с американскими торговыми людишками. Только известно, что дела до младенца никому никакого не было, и крещенный Афродитой, судя по ослепительно синим глазам – русских кровей, болтался он на нерпичьих ремнях в меховой люльке в огромной яранге многодетной чукчанки Ковачыргинной, не имеющей, впрочем, мужа, качался вместе с ее детьми, зажав крепкими деснами вместо соски кусок твердого лахтачьего сала. Повзрослев, он спал вместе с собаками за пологом, как и его некровные братцы и сестры, ел что придется, частенько выхватывая у зазевавшегося пса его законный корм – вяленую рыбину, за что не раз был кусан вечно голодным собачьим коллективом.

Из этой закопченной яранги он и вылутился в жизнь, обрета, несмотря на скудное питание, могучую статью. Поначалу прибил к казенному дому, став смотрителем и благодетелем упряжек урядника Прохорова, большого по тем временам начальника в марковской тундре, мужчины сурового и непьющего, затем переметнулся к попу Игнатию, который люто страдал от того, что доверчивые, честные чукчи и ламуты охотно крестились у него, без спору принимая христианскую веру и, получив за это определенную мзду – соль и порох – спокойно справляли затем свои колдовские обряды, даже не извиняясь за отступничество перед своими идолами, искусно вырезанными из моржовой кости. Больше того, уразумев выгоду крещения, они совершали этот обряд неоднократно, дабы еще раз получить соль и порох, вводя в отчаяние попа Игнатия своей активностью.

– Дык, что делать мне? – давился ругательствами поп, – куль все они, хриstopродавцы, как один лик, быдто пшано.

Единственно чему научил поп Афродита, так это диковинной речи своей и умению пить при любой оказии. Когда учитель помер, Афродит Подколодный ушел в тундру и навсегда остановился в поселении Березовой, имеющем той порой восемь яранг. Здесь, в несусветной глуши, встретил он революцию, дожил до войны, ни разу не видя представителя новой власти. Он ничем не занимался и занимался всем понемногу: охотился, рыбачил и выпасал собственное миниатюрное стадо в два десятка оленей. Афродит и язык русский стал забывать, когда заявился в поселение человек, которого чудно называли Бригадир. Он с удивлением глядел на медведеобразного человека, по всем данным русского, совершенно не имеющего понятия о том, что творится в мире, трактующего события со слов

охотников-чукчей, чудовищно преломляя их в своем воображении. Исходя из своего понимания, он и держался от всего непонятного подальше, рассудив, что ему живется неплохо, что пить-есть вдоволь, а о иных достоинствах цивилизации он и понятия не имел.

Через две недели после того, как уехал Бригадир, рассказавший Афродиту о многих странных и непонятных вещах, в поселение приехал на собаках другой человек с еще более чудным именем – Уполномоченный. Два дня он уговаривал Афродита ехать с ним в Марково, так как того требовал Закон. Оглушенный и испуганный Афродит, наконец, сдался и отправился вместе с Уполномоченным в Марково, на встречу с Законом.

В армию его по каким-то причинам не взяли, хотя белые люди – так чукчи звали врачей – восхищенно цокали языками, стучая пальцами по его спине и заставляя дуть в трубку, отчего из ведра появлялся черный ящик и стремительно подлетал вверх.

Афродит несколько дней ходил по селу, слушал диковинные речи, жадно впитывал новости, все вечера просиживал в избе, прозванной русским клубом. Он многое узнал, часто слушал черный ящик, который много говорил, хотя и непонятно. Он узнал, что такое бригадир, колхоз, Москва, где людей много-много, больше, чем оленей в тундре, узнал, что есть плохой человек, Гитлер, который хочет зла людям, что он напал на нашу землю, и если его не прогнать, он придет сюда, и многое другое узнал Афродит – и ходил совершенно растерянный и жалкий. От людей, от избытка новостей у него болела голова, и хоть все вокруг было интересно, – он почувствовал облегчение только тогда, когда, вручив ему много разных белых бумажек с печатями, разрешили вернуться домой.

Вот так он краешком глаза увидел новую жизнь, и она теперь часто вторгалась к нему в Березовое, мучила, томила бессонницей, и он поначалу бессознательно сопротивлялся ей, но одновременно чувствовал, что ему хочется снова и снова побывать в Марково, послушать черный ящик, людей, которые там много знают интересного. И он запрягал собак и ехал, и шел в клуб, и сидел там молча в уголке, многого не понимая, но уразумев главное, что уже не сможет жить без всего этого непонятного и сложного. В нем поднималось что-то новое, болезненно приятное, в чем он не отдавал отчета, и он машинально тянулся к людям, не понимая даже, что стремился быть им полезным, разделить с ними тяготы, которые морщият их лица, заботы, которых он еще не понимал, но которые уже начали тревожить его сердце. Но на него никто не обращал внимания, и Афродит отправлялся в свое логово.

Однажды он зашел в сельсовет, где сидел Уполномоченный с наганом на шубе, и вывалил из мешка перед ним на пол отборные меха.

– Накось, парень, в понт обороны... берь, парень, зверя в понт... слыхивал я, парень, другие-то несут.

И пошел обратно, но Уполномоченный не пускал, много говорил, записывал в тетрадь, хлопал по плечу и часто повторял – патриот. Афродит его не поправил, хотя и знал, что в бумажке ему другое имя записали, и ушел, не

показывая вида, как ему приятно, что Уполномоченный много говорил и записывал в тетрадь и хлопал его по плечу.

Вот так, в сорок лет, вторично родился на земле человек – Афродит Подколотный – и стал расти себе и познавать события по-новому. Места жительства, впрочем, он не менял, да и не знал, как это сделать. Он еще два раза сдавал пушнину, и, видимо, много сдавал в фонд обороны, потому что после войны его привезли в Марково и приколотили на грудь красивый лоскуток с круглой блестящей железкой, которая называлась медаль. Афродит уже знал, что медаль дают уважаемым людям и очень возгордился и не расставался с ней ни на минуту. Шли годы, стал Афродит стариком, многое узнал — кино и самолеты видел и вездеходы, и «Спидола» говорила в его яранге с утра до вечера, пока не сдавали батареек, а когда неподалеку открыли звероферму — стал при ней сторожем. Да это так, для отвода глаз определили ему такую грозную должность. От кого тут ферму сторожить? Душегубов да татей в этих местах отродясь не водилось. Потому и делал Афродит на ферме все понемногу: и убирал звериный помет, и корма грел и разносил, и уголь к котлам таскал, и делал много другой незаметной работы, отрываясь от нее на беседу с приезжими, до которых он был большой охотник. А остальное время он сидел с мужичонкой по имени Кешка на громадном валуне, нивесть откуда взявшемся в тундре, далекой от сопки, и глядел вдаль выцветшими глазами, и думал какую-то свою думу, не обращая никакого внимания на суету мирскую — ни на морзянку куликов, ни на любопытство евражки, ни на косяки гусей, ни на дальние, фантастически замедленные танцы журавлей.

II

Трудно сказать, откуда у Афродита появился этот интерес к птице Павлину. То ли в кино показали, то ли на картинке какой высмотрел. Только запала в душу старику диковинная эта птица и грезилась ему и отгоняла осторожный стариковский сон. Смеялись над ним суровые люди — звероловы, а он и не обижался, только его маленькая, выскубленная от волос ветрами головка с острыми, как у лисы, ушками съезжала по плечам налево, и оттуда постреливала в насмешника колючими доброжелательными искорками. Вот к этому старику по совету марковских друзей и зашел я, разделавшись с командировочными делами, в надежде уговорить его на рыбалку. Вокруг упорно поговаривали, что дед мог спроворить такую рыбалку, что нам в Анадыре и не снилось. Дед трапезничал. Царским жестом пригласил он меня к столу, не забыв осведомиться, однако, насчет здоровья. Увидев на столе опорожненную до половины бутылку шампанского, я удивился редкому в тундре напитку.

— Ты давай, парень, насыщайся, не брезговай, — еще раз пригласил Афродит И тут только я обратил внимание на довольно странную пищу старика.

Налив себе еще полстакана, Афродит крикнул, выпил шампанское, заел сначала балыком и чесноком, салом с остромаринованными помидорами, а только потом стал шумно хлебать из миски жидкую манную кашу.

Заметив мое изумление, старик важно пояснил:

— Дигет, парень, дохтур дигет обозначил. Ешь, говорит, манку сколь можешь, брюхо-то и отпустит. Вон вишь: ем. Да ишшо таблет глотаю. Горький, однако, таблет, — вынужден был признать Афродит. — Выдто горюн-ягода.

Насчет рыбалки старик высказался отрицательно.

— Рыбицы бы взять, оно, конечно, хорошо, — старик сладко, в пол-лица зевнул: — Истомить бы хариуза в ягоде — морошке, х-ма, парень, дык нетути рыбицы. Погодить надо. Вот гнус и комар пойдут — тогда токо оборачивайся...

Афродит подвигал могучими плечами, грустно покосился на пустую бутылку, покряхтел и хитро прищурился. Видно, в голову ему пришла хорошая мысль.

— Оно, конешно, можно гольца взять. Идет голец-молодец с реки Анадырь, однако, а в реку Анадырь с самого моря. Дык и как пойдешь рыбалить, коли чая нет? Срамота одна, а не рыбалка... Кончился чай повсеместно — употребил он неожиданное для его речи слово.

Голова его съехала влево и выстрелила в меня остреньким полувзглядом:

— Чего, парень, ровно бык вздыхаешь? Финанцы есть? Если есть финанцы — иди в ТЗП, Пантелей тебе, однако, даст чай, так как ты ереспонден и в шляпе. А то, может, и чего другого даст, — высказал Афродит сокровенное. Ты токо перед мордой его топоратом пошшолкай да про карточку намекни — враз даст.

Надул меня дед. Чаю я достал, кое-чего тоже, а рыбы не было, хотя дед, пока ели, энергично успокаивал, что вот-вот подойдет стадо, что гольцы, завроде оленей, стадно ходят. Когда пиршество кончилось, Афродит успокаивать перестал, и мы, побросав удочки, сонно прислушивались, как младенчески причмокивает речка у самых ног.

— А скажи-ка, парень, не видал ты где павлин-птицу?

— Видал, видал, — обиженно и лениво пробурчал я, все еще не простив деду его коварства.

— А ииде видал? — дед приподнялся и с жадным любопытством уставился на меня.

— В Молдавии. Есть там санаторий в лесу, в бывшем монастыре. Вот там этих павлинов что собак у тебя в поселке.

— Ах ты, господи, — заохал старик и заворочался, закрихтел, засопел, полез за трубкой и стал набивать ее, просыпая табак. — Вот ведь сумерок какой на меня нашел, — и забормотал он, шаря в рюкзаке. — Спички позабыл иде дел. Я щелкнул зажигалкой, но дед прикуривать не стал.

— Вонь одна от ентной штуковины. Карасином табак воняет.

Наконец он все-таки прикурил, поправил под собой шкуру и прочно утвердился на ней, явно приготовившись к долгой беседе.

– Сказывай, парень, что за птица — павлин? Откудова такая, быдто изумруд? Кто ей отец, кто мать?..

Обида у меня еще не прошла, и поэтому я неохотно и даже раздраженно ответил:

– Обыкновенная птица... Ходит, орет дурным голосом, никакой пользы, только помет один.

Старик вскочил с неожиданной прытью, лицо его перекошилось, и в нем проглянуло что-то волчье.

– Ты-ко брось, парень, финтиллихент быдто, а дуром ревешь! С тебя вон тоже помета хватает, так что значится и пользы нет? — мигом соорудил свою логику Афродит.

Он помолчал, остервенело выбрасывая в реку из банки мелко нарезанные куски мяса для наживки, потом обидчиво прищлепывая губами, назидательно сказал:

– Ты, парень, глуп, ровно дубина стоеросовая. Даром что гумагу мараешь. Всякая козявка, например гнус даже, огромный смысл имеет. В ем своя красота, а уж павлин-птица — красотишша неписуемая, незадарма земляца такое диво исделала, не задарма, парень... Огромный смысл в ем есть, в павлин-птице, набыть, может, сама мечта человеческая.

Выцветшие глаза старика заискрились полыхнули давно отцветшими васильками, он с пристоном лег, облокотившись на руку и, прикрыв глаза, мечтательно сказал:

– Узреть бы птицу живым глазом — и руки на грудях сложить можно. Узреть бы благодать дивную. Исполконт обещал дать гумагу с печатью, путевка зовется, на куронт. Грю исполконту, дай, мол, куронт с павлин-птицей, — зубы скалят токо.

И родной матери, если б у него была, не признался бы Афродит, что он пуще смерти боялся города. Только эта боязнь и мешала ему отправиться искать по свету павлин-птицу.

Крепко заинтересовал меня дед. И так как на следующий день самолет не прилетел — я отправился к Афродиту Подколодному послушать про его удивительную жизнь. Поначалу я не поверил столь удивительной его биографии, приписав наиболее яркие ее эпизоды стимулирующему фантазию действию здешней природы. Ну, как это можно — прожить до глубокой старости, словно на необитаемом острове! Однако марковский фельдшер, житель здешних мест, подтвердил сказанное Афродитом и добавил в блокнот мне еще несколько эпизодов, погасив мое неверие одним словом — Чукотка. Что тут поделаешь?

У Афродита сидел худенький мужичонка, с удивительно нежными, застенчивыми глазами. При моем появлении он встал, суетливо одернул потерявшую первородный цвет куцую тужурку и, слегка поклонившись, протянул ладошку лодочкой:

– Кеша Апостол, каюр местный, а по летнему времени — рабочий на звероферме, елки-двустволки.

Вот так и встретил в этом глухом краю земляка.

Ш

И надо же, чтоб судьба свела воедино в этом далеком краю двух таких людей – совершенно непохожих, и в то же время необыкновенно похожих. Огромный, медведеподобный, величаво медлительный Афродит и маленький, суетливый, с беспокойными руками Кеша, весь какой-то прибитый, приниженный, с заискивающей улыбкой на остреньком, вечно небритом лице. Но несмотря на эту вопиющую непохожесть, их что-то роднило, скорее всего беззащитная доброта в глазах, совсем открытая, безропотная доброта, замешанная на какой-то непонятной грусти. И еще их объединяла жадность к новым людям, очень редко появляющимся в их селеньи. Тут же возле прилетевшего появлялся Афродит с совой на плече, и заинтригованный гость, умильно причмокивая языком, будто приманивая цыплят, тянул палец к птице и тут же его отдергивал, так как сова, вытаращив огромные незрячие глаза, начинала свирепо щелкать клювом. Так завязывался контакт. Потом приезжему рассказывали про удивительную жизнь Афродита – и гость попадал в капкан любопытства. И приходил к Афродиту. Тут же, как из-под земли, возникал Кеша с ладонью-лодочкой, с остреньким, дрожащим от предчувствия новостей, носиком, и застольная беседа начиналась, и гость, забыв, зачем пришел, рассказывал все, что знал про павлин-птицу, затем про моря-океаны, про зверей заморских и про многое, многое другое.

Кеша появился в Березовом лет десять назад, изъездив всю страну. Появился, как он сам говорил, на минуточку, но, очарованный красотой этого березового островка посреди голой тундры на тысячу верст вокруг, застрял здесь неожиданно для себя на годы. Сам Кеша объяснял это дело так: — Я, елки-двустволки, на каждом месте работал до тех пор, пока не зарабатывал на дальнейшую дорогу. А там и — ла реведере. Ехал дальше. Это как болезнь у меня, елки-двустволки. А тут — благодать какая. Душевность сплошная. Березки, словно ребятишки безгрешные. Чисто ангелята. Светленькие все. Даже в ночь светло от них вокруг. А тихо-то как на душе, господи, тихо как!

И он закрывал глаза, и морщины на его лице разглаживались, и только горькие складки у губ становились резче, придавая его лицу иконную выразительность и одухотворенность. Когда Кеша выпытывал все его интересующее, наступал его звездный час — он доставал расческу и, закрыв глаза, начинал наигрывать на ней грустные мелодии, настолько трогающие душу, что все замирали и долго сидели молча, потрясенные осязаемой тоской человеческой по чему-то не понятному, не доступному разуму, но волнующему сердце. Вечный бродяга, еще в детстве покинувший разоренное войной село У Днестра, Кеша носил этот уголок родной земли Р своим сердце по бесчисленным своим нелепым дорогам, никого не допуская в этот мир, лишь приоткрывая его людям волнующей душу мелодией.

– С таким фамилией тебе попом надобно быть, — пряча заплаканные глаза, наконец, произносил растроганный Афродит, — чисто ангел небесный, быдта наскрозь душу оммыл. Словно павлин-птица...

И добавлял каждый раз, сокрушенно качая перед моим носом кулаком, никак не меньшим, чем его голова:

– Одной бонбой Гитлер зничтожил всех Кешкинык родителей, — и, не давая мне опомниться, непоследовательно, но непременно добавлял: — Иди в ТЗП! Может, тебе Пантелей, как ереспонденту, еще чего-то даст.

Я отказывался, и Афродит разочарованно выговаривал:

– Да рази ты писатель? Вот намедни две писателя были, так те писатели. С утра до ночи три дня с ними за столом сидел...

Уже неделю я жил в Березовом, а самолета все не было. На седьмой день, когда я зашел в контору узнать насчет самолета, заведующий зверофермой, желтолицый и желчный Яков Михайлович Хейфиц с обидой сказал:

— Чего-то вы, товарищ корреспондент, нас не милуете? Разве же у нас не о ком написать? Вот во второй бригаде у комсомолки Задориной уже все самки песца покрыты. Большое достижение. А вы не интересуетесь. Все с этими жалкими фантазерами время проводите.

Увидев, что я записал в блокнот фамилию, бригаду, показатели, Яков Михайлович немного оттаял и неожиданно сказал:

— А вы знаете, Кешка-то Апостол под следствием у нас был.

И Хейфиц рассказал о моих новых друзьях историю, которая добавила еще один штрих к портретам Кешы и Афродита. А дело было так. В Магадан для восточных районов Чукотки должны были завезти голубого песца. Правдами и неправдами Хейфиц выбил для своей фермы два десятка зверей за наличный расчет. Сколько надо было платить – никто ему сказать не мог, и Яков Михайлович командировал в Магадан Кешу, выдав ему пять тысяч рублей. Конечно, пошел на это Хейфиц скрепя сердце, но зоотехник был в отпуске, бригадиры заняты — шел гон зверей, а сам заведующий болел.

Кеша две недели жил в гостинице, дожидаясь песцов, и ни с кем не встречался. По вечерам грыз колбасу, запивая ее кефиром.

Его номер был на втором этаже гостиницы «Магадан», и вечерами Кеша отчетливо слышал, как в ресторане оркестр наигрывал молдавские мелодии. На третью неделю Кеше заявили в областном управлении сельского хозяйства, что песцов им все-таки в этом году не дадут, и он по телефону сообщил это Хейфицу и получил команду возвращаться. Тогда и решил Кеша сходить в ресторан, хорошо поесть и послушать музыку. И вот тут-то Кеша даже не заметил, как оброс друзьями, которые лихо заказывали молдавский коньяк официанту, а молдавские мелодии — оркестру, лихо пили, а потом разом исчезли, будто их и не было, предоставив Кеше расплачиваться за их любовь к молдавскому коньяку и молдавским песням.

Кеша не ропща платил, смутно еще припоминая лысого человека в морской фуражке, которому он дал тысячу рублей на дорогу, так как тот спешил то ли к дочери, то ли к матери, а потом он уже ничего не помнил, но очнулся у себя в номере с авиабилетом до Марково, с горстью мелочи и двумя билетами

Художественной лотереи РСФСР. Добравшись до Березовского, Кеша заявился к Хейфицу и застенчиво показал ему, вывернув наружу, пустые карманы.

— Конфус вышел, елки-двустволки.

Хейфиц тут же в присутствии Кешы позвонил в Марково и вызвал милицию. В это время вернулся в село Афродит, уходивший на три дня в тундру наживлять приманку на капканы. Узнав об истории, приключившейся с Кешой, Афродит много смеялся и сердился единственно на то, что Кеша допустил, что его угощали за его же деньги.

Когда из Марково прилетел милиционер, к нему первым заявился Афродит, вывалил на стол кучу крест на крест перевязанных червонцев и сказал, поправив на груди медаль:

— Бери-ка, парень. Тут пять тысячов. А Кешку, того, не тронь. Если мало — я в беркас пойду, приволоку финанцев.

— Да как ты смеешь? — взвился молоденький лейтенант, кипя благородным и симпатичным негодованием. — Давать взятку? При исполнении?..

Афродит с одобрением наблюдал, как резво бегал вокруг него лейтенант и добродушно его урезонивал:

— Ну чаво, чаво, парень, напригаишси? Чаво мельтешишь? При положении ведь, вон и револьвент тебе дали, а ты пузыришси...

Но лейтенант был тверд, допрос с Кешы снял по всей форме и улетел после беседы с Хейфицем, пообещав вернуться через недельку. Но не вернулся ни через недельку, ни через год, так как Хейфиц, человек в общем-то добрый и незлопамятный, сумел замять это дело, тем более что Афродит деньги в кассу внес.

— Даже в таком крупном городе, как Одесса, двух подобных чудаков не найдешь, — сокрушался Хейфиц. — А у нас в селе на сорок одного человека — два таких экземпляра...

Но и Афродит был в свою очередь скор на оценки. Поглаживая сову по клюву, отчего та сладостно вздыбливала перья, он важно изрекал:

— Добер Хейфиц, добер, хоша и иудей. Вечером, когда не было гостей, Афродит и Кеша вдвоем сидели на валуне, роняя редко, как первые капли с сосульки от первого солнца, слова, очень осторожно роняя, до блеска обкатав их в неспешных своих мыслях. И эти одно-два слова за вечер отлично заменяли им целые речи, ибо научились они понимать друг друга, даже не с полуслова, а с полвздоха. И было им хорошо сидеть вот так, и сердца их, этих одиноких людей, тихо плавилась от желания сказать друг-другу что-нибудь приятное, такое, что говорят отец сыну, брат брату, родной человек родному.

И когда это обжигающее желание становилось совсем нестерпимым, у валуна тихо скрипело:

— Солнце, парень.

И через пять-десять минут от валуна отскакивало:

— Светило, елки-двустволки.

Но если бы нашелся на земле переводчик, способный перевести людям на понятный им язык эти два-три пережженных в душе слова, то содрогнулись бы они от невероятной нежности и тоски, которыми наполняли свои слова эти два ненужных никому человека.

Через час-другой у валуна снова шелестело;

— Небеса-то, парень.

И через пять минут возвращалось:

— Синь-пресинь, елки-двустволки.

И теплая волна от этих слов докатывалась к сердцам и растапливала снежинки на небритых подбородках.

IV

Так уж получилось, что мой следующий приезд в Березовое совпал с последними днями Афродита. Старика привезли из Марково, где его, как сказал Кеша, «разрезали и тут же зашили». Операция уже ничего не давала. Отпросился Афродит умирать в родное поселение. А сейчас лежал он в фельдшерском пункте, дерзко именуемом изолятором по той только причине, что там стояло две койки, на которых обычно спали командировочные. Его было трудно узнать, так он усох. Только голова оставалась прежней, такой же маленькой, изрезанной морщинами, да глаза засветились изнутри убежденной иступленностью великомученника. Огромные его руки поражали глаз могучими высушенными мослами, желтизной, неподвижностью. Они до того явственно напоминали на белом фоне пододеяльника две гигантские клешни, что я невольно отвел глаза. Афродит меня сразу узнал. С трудом разлепив спекшиеся губы, от отчетливо прошелестел:

— Ереспондент?

И заерзал, приподнимаясь на подушке.

— А я тут помираю, парень. И таблет глотал, и дигет исделал, и кровь чужую в меня лили, да не помогло, однако.

Я никак не ожидал, что меня так потрясет вид Афродита. Неожиданная боль, боль жалости к этому чужому для меня человеку, сдавила сердце, и не отпускала, и я стоял молча, беспомощный, будто этот дед вскрыл меня невидимым консервным ножом, как банку с килькой, и выпотрошил все до единого слова.

— Ты, ереспондент, давай исделай гумагу, что я деньги, из беркас, девять тысяч, Кешке отписываю... дохумен шоб... по форме...

— Не надо мне твои деньги! Дурак! Пень старый! — вдруг вывернулся из-за печки Кешка, страшный и растрепанный. Он судорожно раскрывал рот с выбитыми передними зубами, и оттуда проталкивались свистящие, злобные слова, подогреваемые слезами, которых тот и не пытался скрывать.

— Плевал я на твои деньги, елки-двустволки! Только еще раз скажи!

Попробуй!

Он яростно схватил ведро с совком и выскочил в сарай и ожесточенно гремел там, ломая ломом смерзшийся уголь.

— Ишь, Кешка! Жалеить меня... — хвастливо сказал Афродит, и тут же сумрачная тень напозла на его лицо, прикрыла глаза, и черты его совсем заострились, будто вырезанные из картона, и пожелтели щеки от сдерживаемой муки.

— А я Кешку ишшо больше жалею. Красивый он человек, токо не жалец, не жалец. Люди все единолики, быдто пшано, а Кешка — нет. Огромный нутренний смысл в ем. Быдта павлин-птица... Да не всяк ту красоту зрит. Спешат людишки. Спешат, однако... Недосуг им, убогим, друг на друга поглядеть. Все бегут, бегут... И жизнь бегить, однако. Вот так, парень... А заглянешь в его, в Кешку-то, в сурцовину, дык радостью надышишься... Так и вышел я от Афродита, не сказав ни слова, весь какой-то легкий, пустой, без всяких чувств и мыслей, будто это не я только что стоял у постели умирающего, а кто-то другой, совсем не знакомый мне человек. О чем-то говорил с Хейфицем, кажется, про Афродитовы тысячи, потом залез в упряжку и уехал в бригаду, успев еще заметить возле изолятора растрепанную фигуру Кешки, неподвижно сидящего на железной бочке с совком в руке. Потом я ехал на упряжке, завалившись на нарты, закрыв глаза, и передо мной, как в немом кино, возникали фигуры Кешки, Афродита, и все это в безмолвии, будто кто-то заложил мне уши. А потом, уже ночью, на чаевке, словно кто-то вытащил вату из ушей, и в меня, как звук, хлынула боль, незнакомая, острая, жгучая. Я пытался иронично кривить губы, я вытаскивал из-за пазухи, словно фокусник, зажеванный, спасительный вопрос: «Ну кто он мне? Кто?» — а боль не уходила, только тупела и растекалась от сердца по всему телу слабостью, так что я не мог удержать кружку с чаем, и оставил ее и завалился в кукуль, и почувствовал сразу облегчение, когда с боков ко мне прижались мохнатые псы: и завозились, устраиваясь, и задышали спокойно, благодарно. И я тут же уснул, словно бы освобожденный от боли их случайной, деловитой благодарностью. Через два дня, когда вернулся, мне сообщили, что Кешка исчез. Не могу объяснить, почему меня так задел отъезд Кешки, — словно предал он и меня, надругался словно над чем-то сокровенным...

Афродит был совсем плох. Я постоял у постели минуту-другую, даже не зная, видел ли он меня.

От него только что вышла сестра, делавшая ему обезболивающий укол, и он лежал, прислушиваясь к себе, к своей боли, и взгляд его плутал по потолку. Когда я уже собрался уходить, Афродит расклеил губы и еле слышно сказал: — Кешка-то за павлин-птицей... Сказывал, неделю жить. Ты гумагу-то выправь, парень... Беркас иди... Ишшо пять дней, пять...

«Бредит» — подумал я и вышел, осторожно прикрыв дверь, хотя старик продолжал что-то бормотать.

А на следующий день Афродит Подколодный умер. Пришла утром сестра сделать укол, а старик уже не дышит. В поселеньи почти никого из мужчин не осталось — разгар пушного сезона — и мы с заведующим ТЗП Пантелеем

выдолбили в вечной мерзлоте у валуна яму и снесли туда тело Афродита, старейшего жителя Березового. Человек десять березовцев присутствовали при этой грустной церемонии.

Я не знал, куда себя деть, и пошел к Хейфицу, и мы долго сидели молча в его кабинете, бездумно слушая, как «Спидола» голосом Озерова взрывалась хоккейными страстями. Потом непьющий Хейфиц вытащил из стола стограммовую сувенирную бутылочку коньяка, и, не предлагая мне, выпил ее и долго утробно кашлял от святотатского отношения к своему организму. Скоро глаза его заблестели, на щеках проступил румянец и он вдруг натужливо выкрикнул:

— Ты погляди, жили в селе два вроде бы никчемных, никому не нужных человека. И не замечали их. А вот их не стало, и вроде бы село опустело... Вроде бы не интересное оно стало. Как будто что-то сокровенное из него вынули. И воздух вышел. А? — и он, не ожидая ответа, уставился взглядом в окно, набело заштрихованное морозом, словно пытаюсь разглядеть за ним валун, у которого каждый вечер когда-то прорастали две темные неподвижные фигуры.

А через несколько дней с самолетом из Маркова в Березовое прилетел Кеша. Прилетел... с павлином. Да, да, он прилетел именно с павлином, этот несчастный человечиска, с суетливой, заискивающей улыбкой. Он никому не сказал, где достал птицу (это другая повесть) и чего ему это стоило. Да никто, собственно, и не спрашивал. Растерянно улыбаясь, он нес ее под мышкой, закутанную в какой-то грязный женский платок, и, никого ни о чем не спрашивая, сразу догадался, что опоздал, сунулся взглядом, как щенок в ладонь, к одному-другому и пошел, заплетая ногами, прямо к валуну, вяло уронив павлина. Павлин молча и деловито выпутался из платка, смешно засеменял за Кешкой, надменно распустив свой пышный, изумрудный хвост, и на белом снегу он предстал вдруг настолько изумительной величественной диковиной, что все невольно придержали дыхание и даже собаки молчали, сраженные этим дивом.

А Кешка сидел на валуне не двигаясь, и казалось, что он растет из этого самого камня. Так он сидел и улыбался каким-то своим мыслям, и лицо его прояснилось, стало чище, по-детски светлым, будто утро умыло его какой-то неведомой радостью. Он улыбался и улыбался, и начал падать вниз, и, наконец, рухнул на землю и забился в отчаянном детском плаче.

А рядом с ним ходила невиданная в этих краях птица, с волшебным сказочным оперением, надменная и недоумевающая и обидчиво кричала скрипчивым голосом, никак не понимая, зачем ее привезли сюда, на эту холодную снежную землю.